



РОМАН №22 ГАЗЕТА

Юрий Козлов / **Новый вор**





КОЗЛОВ Юрий Вильямович

Известный русский писатель, автор многих книг, лауреат ряда престижных литературных премий. Родился в городе Великие Луки в 1953 году. Сейчас живёт в Москве.

Первый роман Юрия Козлова — «Изобретение велосипеда» — увидел свет в 1979 году. Большой популярностью у читателей пользуются такие произведения писателя, как повесть «Геополитический романс», романы «Пустыня отрочества», «Ночная охота», «Проситель», «Реформатор», «Колодец пророков», «Одиночество вещей», «Закрытая таблица», «Враждебный портной» и другие. Проза Юрия Козлова переведена на многие иностранные языки.

С 2001 года Юрий Козлов — главный редактор «Роман-газеты».

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л РОМАН-ГАЗЕТА

ЖУРНАЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!



Подписные индексы издания:

в каталоге агентства «Роспечать»
70782 на полугодие, **71752** на год;

в объединённом каталоге «Пресса России»
38915 на полугодие;

в электронном каталоге «Почта России»
П1526 на полугодие

Адрес редакции: Россия, 107078, Москва, Новая Басманная, д. 19

Телефоны редакции: 8 (499) 261-84-61, 8 (499) 261-49-29

Телефон отдела распространения: 8 (499) 261-95-87

E-mail: roman-gazeta-1927@yandex.ru Сайт: www.roman-gazeta-1927.ru



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин
Юрий Бондарев
Семен Борзунов
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный
редактор
Елена Русакова

В оформлении
обложки
использованы плакаты
начала XX века

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2019
Все права защищены

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
www.gazety.ru

Подписные
индексы издания:
в каталоге агентства
«Роспечать»
70782 на полугодие,
71752 на год;
в объединенном
каталоге
«Пресса России»
38915 на полугодие;

в электронном каталоге
«Почта России»
П1526 на полугодие

Журнальный вариант.

2019 №22 /1843/ Основана в 1927 г.

Юрий Козлов

Новый вор

Роман

1

— Вам опять звонил Авдотьев, — заглянула в кабинет Перелесова секретарша Анна Петровна.

Немолодая (сорок с хвостиком), но стройная и ухоженная, она стояла в проёме между дверями, как авторского исполнения кукла в деревянном футляре. Наверняка есть в России умельцы, изготавливающие архаусные, из гущи жизни куклы-символы: «секретарша», «социальный работник», «кредитный менеджер», «охранник», «бизнес-тренер», «фитнес-консультант», «политолог», «депутат»... Даже самого себя мимолётно отметил Перелесов в образе куклы «министр».

Образ ему, в общем-то, понравился. Это раньше — в советские и ранние постсоветские времена — министр был мордаст, тяжёл и неповоротлив, как металлургический комбинат или животноводческий комплекс, едва ворочал пережатой галстук — государственной плановой удавкой — шеей. Нынешний российский министр был лёгок и ускользающ, как бегущая строка, креативен и непонятен, как инновация, изящен, как присланная по случаю праздника электронная открытка с взрывающимся салютом или распускающимися цветами.

Перелесов не сомневался, что единственный федеральный министр, которого несколько лет назад посадили, пострадал отчасти из-за своего несовременного, точнее несвоевременного, лица. Оно, как грубый устаревший вагон, отцепилось от улетевшего стремительным «Сапсаном» времени. Кто-то изощрённо поглумился над угрюмым министром, угадав в его лице наглешую, какую-то чичиковскую в ущерб собакевичевской внешности, готовность самолично — в нарушение всех мыслимых правил — явиться за пресловутым портфелем с долларами. Столь вызывающе-дремучая (так, наверное, светлейший князь Меншиков в восемнадцатом веке наведывался к промышленным и торговым людям) взятка являлась хамством, которое не могло остаться без наказания. Поэтому и лицо принуждённого к тому государственной необходимостью и нетерпимостью к коррупции разоблачителя-взятокдателя было подобрано со вкусом, если не сказать, с высшим, который, собственно, и есть «живая жизнь», юмором.

Перелесова даже посетила кошунственная мысль, что лица, как цифры в уравнении, можно поменять местами. Равнозначными и равнозначимыми для государства были эти лица. Просто в воспитательных целях одного оставили нежить в сладчайшем дворцово-яхтовом «плюсе», а другого, как прохудившийся (тоже, кстати, отнюдь не пустой) носок в мусорное ведро, бросили в горький тюремный «минус».

За «плюс» с миллиардами и сменными жёнами-моделями надо было платить. В том числе и участием в очистительных антикоррупционных мероприятиях.

Перелесов, родившийся через тридцать лет после смерти Сталина, подумал, что отец народов решал подобные вопросы гораздо проще, а главное, дешевле. В его время «плюсом» была сама жизнь, а «минусом» — смерть. За возможность длить существование хоть в пыточных камерах, хоть на чудовищных открытых судебных процессах люди были готовы на всё. Ценой жизни была сама жизнь в любом, даже бесконечно малом (лишние три минуты до пули в затылок), измерении.

За время долгого предварительного разбирательства лицо угодившего в «минус» министра видоизменилось. Боль и страдание растопило в нём начальственный лёд. Некая неурочная и неожиданная мысль отогрела его лицо, как музейная керосиновая лампа озябшие руки. Испившего от истоков (сума и тюрьма) бытия страдальца, конечно, следовало освободить и вернуть на должность. Он бы горы свернул, сторел на работе, победил всех врагов, как вызволенные из застенков сталинские полководцы, министры и учёные. Но для этого была нужна прежняя, исчезнувшая Россия, на нефтегазовых трубчатых и ракетно-ядерных костях которой держалась Россия нынешняя.

Перелесов молчал, размышляя, как будет выглядеть в предполагаемом артхаусном кукольном театре кукла «вор», но так и не пришёл к определённой выводу. Понятие «вор» было растворено в «гуще жизни», присутствовало неуловимым элементом во всех кукольных образах, как в девятнадцатом, допустим, веке понятие «православный». Новый российский мир был новым (в смысле всеобщим и всеобъемлющим) воровом. Все флаги, то есть куклы, точнее, все воры в гости к нам. Потом — не с пустыми руками — от нас. А мы — к ним с тем, что осталось. Навсегда. Когда здесь всё закончится. Так выглядел сюжет пьесы.

Истомлённые и по разным причинам не преуспевшие в воровстве зрители, которым предстояло доживать в освобождённой от природных и прочих, за исключением духовных, богатств России, ждали финального акта, но он беспощадно затягивался. Костюмы и занавес ветшали, кресла под зрителями скрипели, а куклы продолжали трястись на сцене, в сотый раз повторяя выученные роли.

— Вчера он тоже звонил, — продолжила секретарша. — Что ему сказать?

— Авдотьев, — повторил Перелесов, продолжая размышлять над природой неуловимого элемента, изотопно пометившего немалое количество лиц в России. Оппозиционные публицисты называли его «каиновой печатью». Кому-то он сводил в долларовой (масонский) треугольник морщины на лбу. Появился даже специальный термин — «финансовый череп». Кому-то — пришёл к носу, как костяшки на счётах, глаза. Кому-то, как, например, другу

Перелесова экономическому генералу-чекисту Грибову, разводил на манер театрального занавеса щёки. А вот лицо самого известного, живущего в Англии российского миллиардера неуловимый элемент упредительно, видимо, чтобы не пропустить в час «X», пометил подобием знаменитой «ежовой рукавицы».

Перелесов вспомнил сразу два изречения Самого на данную тему: «Когда нечего красть, крадут воздух», и: «Некоторые, лёжа в гробу, пытаются стырить... гроб».

«От добра добра не ищут», — недовольно ответил Перелесов экономическому чекисту Грибову, навестившему его в новом кабинете. Тот, помнится, раздвинув занавес щёк, подмигнул Перелесову, когда секретарша, поставив на столик чашки с кофе и широкие стаканы для виски, удалась из кабинета: «Да ты, этот, как его... геронтофил! Берёшь пример с Макрона?» Сам Грибов полагал двадцать пять лет предельным возрастом для своих сотрудниц. «Девушки должны расти, — *сексистски* улыбаясь, приговаривал он, — по мере расширения и углубления своего внутреннего потенциала». *Подросших* девушек он переправлял в другие подразделения (грибницы) необъятного чекистского ведомства.

Перелесов решил, что немедленно уволит секретаршу, как только заметит в её лице другой неуловимый элемент — презрительное превосходство *невора* (такое он придумал определение в дополнение к криминальным терминам *лох* и *терпила*) над *вором*. Этот элемент был звонком, извещающим, что время первого элемента исчислено. Обобщённый *невор* (народ) устал терпеть торжествующего над ним обобщённого *вора*. Огненные буквы со стены вавилонского дворца Валтасара как бы размазывались по миллионам лиц, стягивая их в готовый к извержению, поплёвывающий лавой вулкан. *Смирновы* (самая распространённая фамилия в России) задумывались: не пора ли её сменить? Но и первый элемент (*вор*) не дремал, как мог противодействовал набирающему злую мощь многоголовому вулкану, заливал *невора* словесной телевизионной водой, пугал войной, отвлекал разными мероприятиями, вроде выборов, наделения всех желающих землёй на сопках Маньчжурии, подъёмом с колен, спортивными состязаниями и подробностями из жизни эстрадных звёзд.

Преподаватель в лондонской Школе антропологической социологии, где недавно по разнарядке (отказаться было невозможно, он числился в первой десятке «президентского резерва») повышал профессиональную квалификацию Перелесов, утверждал, что подспудное и необратимое превращение страха в презрительный смех — верный симптом приближающейся революции. В качестве примера, этот, в узком, как змеиная шкура, костюме, с бритым, похожим на смазанное гелем страусиное яйцо черепом, педераст (с некоторых пор это слово стало не то чтобы запретным, но нежелательным) вспоминал ранних христиан. Погрязший в роскоши и развлечениях Рим распинал их, топил в Тибре, травил на аренах диким зве-

рьём, рвал крючьями, и всё не в кассу. Они умирали, презирая и жалея своих мучителей. В итоге христиане победили, перелицевали Рим под свою веру.

Перелесову не понравился этот пример. Он упрощал антропологическую социологию, превращал новомодную науку в диалектическую марксистскую спираль. Что с того, что христиане смотрели с презрительным превосходством на Рим и, возможно, сходя от ужаса с ума, хохотали на аренах? На них самих сейчас точно так же смотрят заселяющие Европу мусульмане. Принятие христианства не спасло Рим. И современную Европу не спасёт принятие ислама. Рима не стало. И Европы тоже не станет.

Перелесов, как многие русские люди, любил это обустроенное и пока ещё ухоженное место культурно-бытового отдохновения и священных (по Достоевскому) камней тревожной отеческо-сыновьей любовью. Переселившиеся в Европу соотечественники надеялись, что она, как загулявшая мать или запутавшаяся в соцсетях дочь, наконец возьмётся за ум — стряхнёт с себя, как вшей, змеино-яйцевых педерастических профессоров, забудет про толерантность и мультикультурализм, выпроводит беженцев, разрешит шведам и прочим своим мужикам мочиться стоя, зажжёт огни на рождественских ёлках, восславит Христа. В общем, подновит священные камни, вновь станет землёй обетованной для людей с понятием и деньгами. Перелесов с ними не спорил, потому что знал, что это невозможно. Точка невозврата пройдена.

Половина слушателей в его группе определённо не являлись, во всяком случае по своему внешнему виду, европейцами, поэтому Перелесов решил воздержаться от дискуссии. Тем более что и некоторые европейского происхождения слушатели были одеты подчёркнуто не по-европейски. Парень из Дании (избранный мэр города Оденсе) приходил на лекции в галабейе и белых подштанниках, из-под которых торчали голые ноги в кроссовках, а симпатичная веснушчатая англичанка (президент студенческого союза Соединённого Королевства) — в хиджабе и чёрном длинном, до пят, платье.

Череп в змеином костюме оказался опытным физиономистом. Он сканировал скользнувшее по лицу Перелесова сомнение и поинтересовался, сможет ли тот назвать хоть одно исключение из этого правила.

«Легко, — ответил Перелесов, — узники Освенцима или любого другого концлагеря совершенно не ощущали презрительного превосходства над эсэсовцами даже в самые последние дни войны, когда её исход был всем ясен».

«Понятно, — перебил змеиный череп. — Вы, кажется, из России?»

«Из России», — с достоинством (министерство заплатило немалые деньги за его приобщение к антропологической социологии) подтвердил Перелесов.

«Не сомневаюсь, вы добьётесь больших успехов в своей замечательной стране при таком понимании антропологической социологии».

«Почему вы так думаете?» — вежливо уточнил Перелесов.

«Видите ли, — охотно объяснил змеиный косяком, — узники нацистских лагерей — люди разных национальностей, но в основном европейцы, были насильственно приведены в подобное эмоциональное состояние чудовищными, казавшимися совершенно невозможными в просвещённой Европе действиями палачей. Это было насилие над их природой. После дыма из печей Освенцима стало неприлично сочинять стихи о розах. Не случайно многие из выживших узников впоследствии покончили жизнь самоубийством. Некоторые из них, кстати, признавались в предсмертных записках, что уходя из жизни, потому что не могут простить себе участия в зверской расправе над своими мучителями. Были случаи, когда заключённым удавалось их захватить и свершить самосуд. Дело в том, — продолжил он, не сводя с Перелесова гипнотического взгляда, — что средне-статистический представитель западной цивилизации не способен сколько-нибудь долго мириться с любым насилием, как в отношении себя, так и с собственным прямым или опосредованным участием в насилии, пусть даже над заслуживающими смерти преступниками. Исключением до окончания Второй мировой войны были немцы, но сейчас они приведены к общему знаменателю. Германия — лидер Евросоюза по приёму и адаптации беженцев. Русский же человек, внешне походя на европейца, внутренне является его стопроцентным негативом. Он не просто терпит, но любит палачей, а себя не мыслит иначе, как жертвой, готовой со страстью и вдохновением подчиняться палачу, подбадривать и поощрять его в изобретении новых мучений. При этом он сам не возражает, если подворачивается случай, мгновенно перекавалифицироваться из жертвы в угнетателя, вора и палача. Русское «глубинное государство» неуязвимо для прогресса и просвещения, изначально не реформируемо на демократический лад. В нём исторически сформировался уникальный антропологический тип социальной личности — палач и жертва в одном лице, двуликий Янус, реагирующий на любые внешние воздействия и изменения сменой масок, но не сущности. Ему не важно, какое нынче тысячелетие на дворе, как вопрошал ваш великий поэт Пастернак, не важно, какой общественно-политический строй и кто у власти в его стране. Его психотип остаётся неизменным. Терпеть, пока его давят, в надежде, что придёт час, когда он сам начнёт давить».

«Но как тогда объяснить перевернувшую мир большевистскую революцию семнадцатого года?» — спросил Перелесов, уважительно глядя на преподавателя чистым взглядом честного идиота. Он едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Знал бы уважаемый профессор, насколько повышающий квалификацию управленец из презираемой им России сведущ в обсуждаемых вопросах!

«Хорошо, что вы вспомнили, — обрадовался змеиный череп, — я тоже много думал об этом. Русский

народ посчитал недостаточной меру угнетения себя царской властью, ему захотелось особенных, извращённых страданий. Цари уже выдохлись, не могли это обеспечить. Поэтому их сменили Ленин и Сталин. Известен хоть один случай народной расправы над сталинскими извергами? Вы возразите: это прошлое. Хорошо. Дворец какого, ограбившего русский народ олигарха или чиновника был сожжён и разграблен в наше время?»

Перелесов из-за опасения прослыть неполиткорректным, антитолерантным хамом и исламофобом (отчёт о его пребывании в школе наверняка ляжет на стол руководителю аппарата правительства) не стал возражать змеиному черепу, вспоминать победу СССР в Великой Отечественной войне, Гагарина, лучшую в мире систему школьного образования, могучую фундаментальную науку. Тем более что двумя часами ранее на семинаре по истории учёная (в леопардовом тюрбане) дама неопределённого социально-антропологического обличья из шведского исследовательского центра объяснила, что главным положительным итогом победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне явилось... резкое сокращение населения и падение рождаемости в Европе. Демографически иссушённая Европа была вынуждена открыть двери новым людям из своих прежних колоний и других стран. Обогатив (оросив?) и частично видоизменив свой генофонд, Европа вступила в эру мультикультурной всечеловеческой идентичности. Колыбель христианской цивилизации превращается, и этот процесс необратим, заявила дама, *в нацию без национальных признаков и свойств*. Так воплощаются в жизнь гуманистические идеалы лучших мыслителей всех времён и народов.

Ну и пусть, недовольно глядя на секретаршу, как если бы та разделяла взгляды тюрбанной дамы, подумал Перелесов, зато русский народ, в отличие от европейцев, взялся за ум, нашупал золотую середину, обрёл желанное равновесие между Николаем Вторым и Сталиным, Иваном Грозным и Горбачёвым. Между давить и терпеть. Рваться в космос и тихо жить на земле. Русский народ в кои-то веки самостоятельно выбрал себе национальную идею — потребление и стабильность.

Народное потребление, впрочем (об этом говорили на заседаниях правительства эксперты), в данный исторический момент представлялось категорией неустойчивой, балансирующей, сползающей в *недопотребление*. Так определяли эксперты новое качество социального бытия народа. Зато политическая стабильность, по их мнению, многозвенной цепью сковала страну от Калининграда до Курильских островов.

Стабильность в России, Перелесов с трепетом вспомнил слова Самого на одном доверительном — без галстуков и стенографисток — совещании, это когда все воруют и все боятся. Каждому — своя мера страха. Задача любой русской власти — регулировать весы, где на одной чаше воровство, а на другой —

страх. Все попытки взвесить Россию и русский народ на иных весах — самодержавия, православия, анархии, пролетарского интернационализма, военного коммунизма, сталинского, а затем развитого социализма, наконец, гласности и перестройки обобщались бедой. «Я вую и боюсь... — обвёл внимательным, в лучиках морщин, взором присутствующих Сам. Выдержал паузу. В установившейся вакуумной тишине ответный взгляд Перелесова вдруг обрёл рентгеновские свойства. Лицо Самого ослепило его, как солнце. Он увидел косметические силиконовые нити внутри щёк Самого, придававшие его немного утомлённому (сколько уже лет светит!) лицу солнечную гладкость и округлость. — Следовательно, я существую!» — закончил фразу, как выстрелил лучом в ночную мглу Сам. Именно так, восхитился кинжально отточенной формулировкой Перелесов. Силиконовые, или какие там, нити внутри упругих щёк Самого показали ему этими самыми сковывающими страну многозвенными цепями, удерживающими её в молчаливом терпеливом покое.

— Авдотьев, — в третий раз сказала секретарша. — Вы его знаете? Будете с ним разговаривать?

Вор вечен, вдруг резко успокоился Перелесов, меняется только его обличье. Опричнина, военные трибуналы, тридцать седьмой год, борьба с коррупцией, люстрации, если вдруг до них дойдёт дело — всё это мёртвому... то есть живому — живее всех живых! — вору припарки. На том стояла, стоит и будет стоять великая Россия!

— Я не смогу поговорить с Авдотьевым, — огорчённо развёл руками Перелесов. — Разве только мысленно. Видите ли, Анна Петровна, Авдотьев, которого я когда-то знал... умер.

2

Родители развелись, когда Перелесову было тринадцать. Он в ту пору много читал, жил в двух мирах — книжном, где торжествовали добро и справедливость, и реальном, где торжествовали совсем другие вещи. У Перелесова до сих пор стояла перед глазами тёмная фигура отца, врезанная, как в раму, в синий вечерний прямоугольник окна. Отец всматривался в россыпь похожих на шахматные фигурки людей, идущих сквозь дворовый сквер по асфальтовым дорожкам к своим подъездам. Высокий парень с гривой прыгал конём, а расширяющаяся книзу тётка в длинном пальто плыла ладьёй. Слоны (они же офицеры в штатском) энергично пересекали желтые, где были осенние листья, и тёмные, где их счистил ветер, диагонали. И только королева — мать Перелесова — отсутствовала на доске.

В тот день она не вернулась домой, не заняла своего места в разложенной шахматной коробке.

Конечно же, Перелесов чувствовал, что домашний уклад претерпевает изменения. Привычная жизнь снималась с места, повисала в воздухе, как пауза в разговорах отца и матери, когда он входил в комнату.

Черепашьи прабабушкины (он, сколько себя помнил, звал её Пра) глаза под стёклами очков влажно туманились, когда она смотрела на Перелесова, выбирающего со стеллажей в коридоре очередную книгу. Ему казалось, что книга — это летающий остров Лапута из «Путешествий Гулливера». Он запрыгнет на него, догонит повисшую в воздухе жизнь, заставит её вернуться на место. Хотя и возникали сомнения. Учёные на этом острове занимались вытягиванием солнечного света из огурцов. Достанет ли огуречного света, чтобы разогнать надвигающуюся семейную ночь?

Перелесов помнил мрачный ужин в кухне. Тогда травяной склон набережной Москвы-реки под окнами их дома не был придавлен бетонно-стеклянным башмаком Театра Петра Фоменко. Из кухонного окна можно было наблюдать, как по серой воде тянутся длинные баржи и тяжело проталкиваются квадратные буксиры в пенных усах. На противоположном берегу, где вскоре поднялись небоскрёбы московского Сити, среди деревьев, кустов и мусорных свалок по вечерам разжигали костры бомжи. Иногда речную тишину вспарывали дикие отчаянные вопли. Кто-то рыдал по потерянной (в социально-обществоведческом смысле) жизни. А может, расставался с ней в самом прямом — физическом. В середине девяностых это мало кого беспокоило. Перелесов сам однажды видел утопленника, причём не бомжа, а вполне прилично одетого (почему-то запомнилась его вылезшая из брюк приталенная рубашка в мелкий цветочек) человека. По набережной шли люди. Некоторые останавливались, смотрели, но не было физиологического, когда живой внезапно видит мёртвого, ужаса на их лицах. Скорее, тревожное облегчение, что не они, а кто-то другой мерно покачивается, зацепившись распутившимися шнурками за торчащий из воды чёрный бивень ограды. В ту осень какие-то страшные люди по ночам выламывали из гранитных тумб на набережной секции неподъёмных чугунных оград и сбрасывали их в воду. Какую же силу надо иметь, пугался Перелесов, как свирепо надо ненавидеть мир, чтобы... чем? — неужели голыми руками? — выламывать ограду. Зачем? Страшно было представить себе, что могли сделать зверские люди с обычным, встретиться он им ночью на набережной, гражданином.

Перелесов поделился этими своими соображениями с одноклассником по фамилии Авдотьев. Они иногда вместе прогуливали уроки, сидели с банками пива на набережной, свесив ноги в воздушные проломы ограды.

«Много тысячелетий, — посмотрел вниз на красивый дно Москвы-реки литой чугунный орнамент Авдотьев, — наши предки убивали и пожирали друг друга. Это никуда не делось, сидит в мозгах. Как только страх наказания отступает, а сейчас именно такое время, люди возвращаются к своей дочеловеческой, точнее дорелигиозной, природе. Не все, конечно, но многие. Людоедство — это навсегда, хотя формы у него могут быть разные».

Авдотьев был высок, худ, узколиц, как сточенный нож, но при этом решителен и, как казалось Перелесову, нелогично бесстрашен. В сложных ситуациях всегда бил первым и изо всей силы. Потенциальные противники, а их вокруг ходило немало, каким-то образом это чувствовали и не задевали Авдотьева, несмотря на то, что тот был абсолютным отличником, учился с едва скрытым отвращением к учителям и школьной программе. Он был равно недоступен другим ученикам ни в точных, ни в гуманитарных дисциплинах. Парил в вышине, когда остальные ползали по земле в духе стихотворения великого пролетарского писателя Горького «Уж и сокол». За ним по умолчанию признавалось необъяснимое и как бы дарованное свыше право знать всё. Учителя, вызывая его отвечать, никогда не задавали дополнительных вопросов. Авдотьев одинаково свободно писал и рисовал как правой, так и левой рукой. Перелесов читал, что таким же двуруким был гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Он часто дома перелистывал альбом с его картинами и рисунками, вглядываясь в анатомические переплетения мышц, эмбрионы в материнских утробах, паутиные лица людей, крупы лошадей, многоколёсные повозки, арбалеты, разверзших пасти рыб, диковинных, похожих на современные игрушки механизмы. Рисунки Авдотьева были другими, но в них тоже угадывалось некое не приобретённое тяжёлым учением, а лёгкое ненасильственное, как солнечный свет, сияние ночных звёзд, течение речных вод, совершенство. Хотя никаким Возрождением в ту пору в России не пахло. Пахло чем-то другим. «Любишь эпоху Возрождения? — однажды поинтересовался отец, застав Перелесова с альбомом Леонардо да Винчи. — Это правильно, потому что мы живём в эпоху вырождения. Я думаю, её именно так назовут будущие исследователи, если, конечно, им останется, что исследовать».

Кухня, где в тот вечер ужинали Перелесов, отец и Пра, была под потолок закована в несокрушимый — сталинских времён — кафель. Стол освещала лампа под плетёным абажуром. Он почему-то в тот вечер был сдвинут набок, как шляпа на пьяной голове. Сквозь прутья сочился жёлтый свет, кухонные предметы проецировали на кафель диковинные тени. Отец достал из холодильника бутылку водки, поставил на стол. Шея бутылки на кафельном экране удлинилась и выгнулась, как у гуся, а у стеклянного тела выросли крылья.

«О, Русь, — констатировал художественно-символическое преображение бутылки отец, — взмахни крыльями!»

«Ты разговаривал с ней? — спросила Пра. — Что она сказала?»

«О да! — ответил, наливая водку, отец. Почему-то каждую фразу в тот вечер он начинал с величественно-речитативного «О». — Она, — посмотрел на тикающие ходики с отвисшей гирькой, — тоже взмахнула крыльями. Летит в Мюнхен к господину

Герхарду. Широка, всечеловечна, — оторвал взгляд от расправившего крылья водочного гуся, — русская женщина. Не худо бы сузить. Но я не успел, — нехорошо улыбнулся и как-то гадко пропел, — не хотел и не сумел».

«Держи себя в руках», — вздохнула Пра.

«О, я понял! — вдруг вскочил из-за стола отец, прошёлся, сжимая и разжимая кулаки, по кухне. — Я понял, почему он столько раз смотрел во МХАТе “Дни Турбиных”».

«Кто?» — с тревогой посмотрела на него Пра.

«Сталин, — пояснил отец. — Этот дом на булыжном Андреевском спуске в Киеве, сейчас там музей, я недавно был, печь с изразцами, тяжёлая мебель, тикающие часы, свет... О да, тёплый свет, — покопился на сдвинутый плетёный абажур, — близкие, родные люди. Семья, да, семья. Он был всю жизнь этого лишён, его это мучило, и он всё это последовательно разрушал, искоренял, выжигал, расстреливал. Он ходил во МХАТ смотреть на развалины старой России, наслаждаться агонией русской семьи...»

«Он создал новую Россию!» — отчеканила Пра твёрдым кафельным голосом. Когда она начинала так говорить, мать обычно делала за её спиной знаки, призывающие собеседников срочно сменить тему.

«О да! — снова налил себе водки отец. Он не собирался менять тему, потому что другая тема — где мать, кто виноват и что делать — была неподъёмной. — Новую. Нашу, точнее, вашу Россию. Без семьи, без теплых печных изразцов, без боя часов, без волшебного света, а главное, — покосился на Пра, — без любви к ближнему. Кто написал в тридцать седьмом четыре миллиона доносов? Граждане новой России! Я говорил, что меня пригласил саратовский театр ставить «Дни Турбиных»? Я отказался, потому что думал, что нам с ней удастся как-то... Не важно! Я сейчас понял, как ставить! Сталин, о да, Сталин — вот главное действующее лицо. Он будет сидеть в зале — в ложе за занавеской — и... А если не он, а его тень? — Отец изобразил пальцами ушастого зайчика на кафельном экране. — Или... — задумался, прижал уши зайчику. — Пусть лучше действие неожиданно останавливается, артисты замирают как изваяния, только огонь в печи, тиканье часов, тёплый свет... А он из ложи в сапогах, во френче, попыхивая трубкой, поднимается на сцену... Ничего этого не будет, обводит рукой турбинскую гостиную, потому что у меня этого не было! Где моя печь с изразцами, окна с кружевными занавесками? Кто ждёт меня в холодную зимнюю стреляющую ночь? Я вас ненавижу вместе с вашими ничтожными человеческими страстишками! Вы будете месить грязь на стройках, добывать уголь в шахтах, замерзать на лесоповале в Сибири! Вынимает из Николкиных рук гитару, отшвыривает, как мусор, сует ему кайло... Будете петь другие песни! Врубается хор: нас утро встречает прохладой, утро красит нежным светом... Можно ещё еврейскую комсомольскую: больше дела, меньше слов, нынче выпал нам улов... И хорошо бы пустить нало-

жением контрабасы из «Гибели богов» Вагнера... — в задумчивости оттопырил нижнюю губу отец, пошевелил в воздухе пальцами, видимо изображая музыканта-контрабасиста. — Всё! Я принимаю приглашение, завтра же, к чёртовой матери, к тётке, в глушь, в Саратов!»

«Правильно, — кивнула Пра. — Работа успокаивает. Даже такая, — посмотрела на отца с жалостью, — как у тебя. С контрабасами. Что вы решили с квартирой?»

«С квартирой? — Отец упорно не хотел покидать сцену с окаменевшими от ужаса героями и расхаживающим между ними, попыхивающим трубкой, кровожадным Сталиным. — Лес рубят — щепки летят. У него будет большая трубка в виде топора, а Турбины... они в живых листьях, как деревья. Офицеры в дубовых, гражданские в хвое, а женщины в цвету, как сакуры. Все под топор! А... почему вас волнует квартира?»

«Потому что это я её получала, — сказала Пра, — когда меня перевели в ЦК».

Отец угрюмо молчал.

«Топор, кайло, — покачала головой Пра. — Чем не устраивают серп и молот, исторически, так сказать, проверенные символы? И ещё я не поняла насчёт гражданских в хвое. Они что, ёлки?»

«О да! — ударил дном пустой рюмки о стол отец. — Запрещённые до тридцать пятого года новогонные ёлки! А в тридцать седьмом — их на палки! Вы получали, а мы будем разменивать. Это жизнь. Не вышло у нас, как там у Маяковского... жить единым человеческим общежитием. Ваша внучка... Молотом по башке, серпом по... Я... — замолчал, тупо и с каким-то отчаяньем уставился на Перелесова, как будто только что его увидел. — Чего ты здесь... Почему не спишь?»

«Дай ему спокойно поужинать! Поезжай в Саратов, — переставила подальше от отца бутылку Пра. — Я присмотрю за ним».

«Только не агитируйте его за комсомол, — отцовский творческий порыв, похоже, иссяк. Он сразу сделался неинтересным и чужим, каким, собственно, всегда был для Перелесова. — Комсомола больше нет, — нервно зевнул отец, — и не будет».

«Не трогал бы ты Сталина, — не стала заступаться за комсомол Пра. — Зачем портить Булгакова? Поставь новую пьесу. Да хотя бы... про нашу семью».

«О да! — свистящим шёпотом, словно его голова превратилась в продырявленный мяч, отозвался отец. — У нас отличная семья: брошенный муж, старая коммунистка — бабушка жены, кстати, кто вы мне, тёща, нет, бывшая тёща, или... пратёща, редкий вид родства, не находите? Сын...» — с трудом выговорил, проглотив, как показалось Перелесову, слова «никому не нужный».

«Ты сам сказал, это жизнь, — положила сухую, как бы сплетённую из прутьев абажура руку Пра на подрагивающую руку отца. — Ты не виноват. Я думаю, она спятила».

«Слишком просто для новой пьесы, — высвободил руку отец. — Зритель не поймёт».

Перелесову вдруг стало скучно и неинтересно. Отец поправил на лампе абажур, и водочный гусь исчез. Перелесов примерно знал, что будет дальше. Отец скажет, что Пра ничего не смыслит в театральных делах. Её потолок — облдрам в Бобруйске, где она служила секретарём обкома до того, как её перевели в ЦК. Там она, возможно, смотрела из начальственной ложи спектакли о Ленине и сталеварах. Потом отец обязательно вспомнит, как сколько лет назад, когда его выгнали из Театра Ермоловой за то, что Чацкий в его постановке ходил в потёртых джинсах с обнажённым торсом, а Фамусов в партийном кителе и кальсонах, а потом не пустили в Будапешт на фестиваль и три года не давали работать — только худруком в театральной студии на ЗИЛе! — Пра отказалась звонить бывшему сослуживцу, который был тогда на должности и мог всё решить в один момент. Пра почему-то в то тяжёлое для отца время каждый день прогуливалась по набережной с каким-то Шелковым или Щёлоковым, от которого все шарахались, как от прокажённого. Все шарахались, а она демонстративно ходила, изображая партийную, точнее надпартийную принципиальность, потому что из партии этого типа к тому времени уже исключили, наград лишили и готовились посадить. Чего же раньше не принципиальничала, когда... в хрущёвские годы гоняла колхозников сеять кукурузу в снег, закрывала в Бобруйске церкви?

Перелесов не знал точно, кто такой этот Шелков или Щёлоков, слышал только, что он потом застрелился. Понятия не имел, почему Пра вместо того, чтобы выручать отца, прогуливалась с ним по набережной? Но чувствовал, что у этой тайны нет объяснения. Это была какая-то объёмная, облепленная снегом, кукурузой, тысячами прочих странных вещей — на амбарном, повешенном на храм замке мировоззренческая тайна, равноценная самой жизни. Как не было объяснения и тому, почему каждый раз, когда возникают проблемы в семье, отец вместо того, чтобы деятельно их решать, вспоминает про какие-то давние, не имеющие ни малейшего отношения к происходящему события. Почему не очевидные (Перелесов читал это по сжатым в суровую, перечёркивающую слова отца, нить губам Пра) дела тянут, как осьминоги шупальца из прошлого, хватают их здесь и сейчас? Хотя, наверное, объяснения имелись. Но разные у Пра и отца. Им не дано было пересечься, как параллельным линиям в Евклидовой геометрии.

Точно так же, как не дано было пересечься их отношениям к странному поступку матери. И не потому, что отец её осуждает, а Пра оправдывает, или наоборот, а по какой-то другой причине. Поэтому и говорят они о Сталине, Булгакове, квартире, которую если и будут разменивать, то нескоро. Или вообще не будут. Вдруг мать останется в Германии? Зачем ей тогда квартира в другой стране, где сидят обиженные и злые, как сычи (наверняка ведь у сычей в этом ми-

ре имеются обидчики?): неразведённый муж, сын-подросток и её чуть живая бабушка?

А ещё Перелесов подумал, что если бы сейчас на кухне вдруг оказались мать и господин Герхард, это бы тоже никоим образом не прояснило ситуацию. Просто к непересекающимся параллельным прямым добавились бы новые, и образовался нотный стан с невесёлой в духе Гайдна мелодией.

Господина Герхарда Перелесов видел один раз в жизни, когда мать садилась к нему в большую чёрную машину на проспекте. Он знал, что мать трудится в проектно-офисе бюро какого-то господина Герхарда и что отцу это не нравится. Отец — известный, пострадавший от коммунистов режиссёр-новатор — не может заработать на приличную иномарку, травится дрянной «Гжелкой», ходит в позорном плаще (он каждый вечер кричал об этом на кухне), а господин Герхард гребёт деньги лопатой, пьёт (откуда-то отцу это было известно) *односолодовый* (Перелесов не знал, что это означает) виски, держит проектный офис. Причём не где-нибудь в промзоне, а в правительственном здании на Ильинке! Господин Герхард — не просто вор, а убеждённый враг России и наверняка шпион! Но дальше и без того не сильно пересекающиеся линии отца и матери расходились конусом. «Хорошо, я уйду из офиса. На что мы будем жить?» — устало спрашивала мать. «Я бы своими руками передушил иностранную сволочь, понаехавшую нас грабить!» — тряс кулаками отец.

Идуший из школы по проспекту Перелесов не успел толком рассмотреть господина Герхарда, запомнил только, что тот седой, худой и с красным, как у аиста, носом. Дело в том, что Перелесов прятал за спину банку с пивом, но как-то неудачно, потому что на спине болтался набитый учебниками рюкзак, и руки, чтобы спрятать банку, не хватало. Изогнувшегося на тротуаре древнегреческого дискобола с банкой вместо диска, должно быть, напоминал Перелесов. «Это мой сын, — грустно произнесла мать. — Он учится в седьмом классе». «И уже любит пиво», — почти без акцента и малейшей симпатии к представленному ему существу констатировал господин Герхард сквозь опущенное боковое стекло.

Перелесов понятия не имел, что скажет красноносый шпион и убеждённый враг России, если вдруг окажется сейчас на кухне. Разве что... констатирует, что отец любит водку.

А вот мать...

Непересекающиеся линии обрели паутинную липкость, душно оплели Перелесова. Он забился в них, как муха, понимая, что не вырваться. По рукам пробежала судорога, в ушах глухо, ватно, как сквозь подушку, зазвенело. Он закрыл глаза и во всю глотку, совсем как бомж с противоположного берега Москвы-реки, заорал, с ненавистью глядя на отца: «Ты козёл! Она ушла потому, что ты ей надоел хуже смерти! Она больше не любит тебя, вот и всё!»

В следующее мгновение Перелесов, подобно теневому водочному гусю с кафеля, слетел от отцов-

ской оплеухи на холодный пол. По линолеуму — это было удивительно, но Перелесов каким-то образом, как сквозь лупу, рассмотрел — полз, поигрывая усами, таракан, немедленно ушедший хитрым зигзагом в сторону плинтуса. Отец вскочил с явным намерением затоптать Перелесова, но между ними стеной встала Пра.

«Это истерика. Оставь его. А ты вставай, ну! — прикрикнула на внимательно отслеживающего путь таракана Перелесова. — Иди спать!»

3

Жизнь в семье разладилась. У Пра участились головокругения. Она неуверенно перемещалась по квартире, держась за стены как при землетрясении. Отец редко ночевал дома, а если появлялся днём, то только затем, чтобы переодеться и взять какие-то вещи. Как понял Перелесов, переговоры с саратовским театром затягивались.

Он начал курить за не просматриваемым из окон углом школы, где всегда курили старшеклассники и где их всегда гоняли учителя. Алгоритм был отработан годами, если не десятилетиями. Застигнутые курцы бросали под ноги сигареты (некоторые нагледцы просто убирали за спину), дежурно бубнили: «Мы не курим — дышим воздухом». Когда в ту печальную для Перелесова осень за угол зачем-то наведлся заместитель директора по хозяйству, Перелесов — самый молодой из курцов — не стал бросать сигарету, а, наоборот, выдохнул, закашлявшись, дым прямо в лицо хозяйственнику, а когда тот затрясся от гнева, послал его на... Естественно, в школу немедленно вызвали родителей. Но отец был трудноуловим, а Пра вряд ли бы самостоятельно добралась до кабинета директора на третьем этаже.

«Я есмь альфа и омега, — объяснил ситуацию Перелесов классной руководительнице, — сам себе отец, сын и святой дух». Та, вздохнув, пообещала поговорить с хозяйственником, змять дело, но попросила Перелесова больше не привлекать к себе внимания. «Это путь саморазрушения, — сказала она, — вечный русский ответ на трудности жизни. Бери пример с Авдотьева. Он всё видит, но живёт, занимается своими делами, как будто окружающего мира нет».

Перелесов внял совету классной руководительницы. Она преподавала биологию, рисовала на доске расклады хромосом представителей разных рас, объясняла, что в результате межрасовых смешений рождаются исключительно энергичные и способные дети. Будущее цивилизации, говорила она, в слиянии рас и народов, чтобы на выходе получился новый, совершенный в генетическом плане *общечеловек*. Определение «национальное» означает ущербное, отжившее. Бойтесь национального, учила она, стремитесь к общечеловеческому. Живите с чистого листа! Мир начинается с каждого из вас!

Перелесов даже уважал эту относительно молодую, ещё спортивную тётку за бесстрашное призна-

ние, что её дочь в семнадцать лет родила от нигерийца. Они назвали ребёнка Иваном и сейчас вместе воспитывали его по какой-то специальной методике. Иван, рассказывала она притихшему классу, фантастически талантлив и энергичен, уже различает на картинках хищных и травоядных зверей, на льва машет ручкой, а антилопу гладит. Он ещё не ходит, но научился ловко выбираться из манежа, цепляясь за бортик. Куда делся отец ребёнка, она не уточняла. Как догадался Перелесов, он остался в мире, которого «нет», осел мутью внутри генетического смесителя.

Сигаретный проступок Перелесова, впрочем, скоро был забыт, точнее, потерял актуальность, потому что директор школы — его звали Гия Автандилович — как и отец Перелесова, оказался новатором в своём деле, организовал в школе грузинский класс. Ученики в нём собрались разновозрастные, но все как один — дети небедных родителей. Их привозили в школу на машинах не хуже, чем у господина Герхарда. Новые ученики слабо знали русский язык. К ним были приставлены специальные педагогпсихологи, которые должны были адаптировать их к московской среде обитания, чтобы потом распределить по разным, применительно к возрасту, классам. Когда один из вновь прибывших принёс в школу золотой, усыпанный бриллиантами, отцовский пистолет и, наведя его в коридоре на девочку-старшеклассницу, гортанно распорядился немедленно показать ему кое-что, сигаретное дело Перелесова растаяло в воздухе подобно дыму, который он выдохнул за школой в лицо завучу по хозяйству. Спас девочку проходивший по коридору учитель ОБЖ, отставник-майор, потерявший ногу в чеченской войне. Он отобрал золотой пистолет у злобно зашипевшего маленького шалуна, отволол его, припадая на протез, за шиворот к директору. Кончилось дело тем, что девочку спешно перевели в другую школу, а отставника-майора уволили, обнаружив в кабинете ОБЖ экстремистскую, как выяснилось, брошюру под названием «Как выжить кавказскому пленнику среди зверей?». На него даже завели уголовное дело, но посадить не успели — вышла амнистия по случаю подписания мирного договора между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия.

На разлад в семье быстро и охотно отозвался окружающий материальный и нематериальный мир. Он упрямо продолжал существовать, несмотря на стремление Перелесова жить, как если бы его не было. Дверцы комнатных и кухонных шкафов не просто выламывались из петель, а с треском отстреливались, щетинились тонкими и острыми, как иглы дикобраза, щепками, салютовали дээспэшной трухой. Под колёсиками трофейного пианино — оно досталось Пра от дяди-артиллериста, штурмовавшего рейхстаг, добывавшего фашистскую гадину в Праге, а потом бесследно сгинувшего в ГУЛАГе — восклицательными знаками вздыбились паркетины. В опорах, как пленный фашист под Сталинградом, стояло